

# Разрушительные тенденции в Русской культуре

## 1. Разрушительные силы мирового развития

Историческое развитие всегда что-то разрушает. Оно никогда не бывает простым движением от плохого к лучшему. Вместе с новым добром возникает новое зло. Приходится искать, чем уравновесить это новое зло. Живучие цивилизации вовремя замечают его и находят противоядия к ядам, которые сами же создают. Расширение знаний периодически сменялось эпохами восстановления веры, восстановления целостного образа мира. Стремительный бег Нового времени на Западе несколько раз тормозился. За Возрождением пришли Реформация и Контрреформация, за Просвещением – романтизм. Эти зигзаги развития напоминают дорогу, серпантинном спускающуюся с горы (или подымающуюся в гору). Россия, и за ней другие страны, подхваченные развитием, оказались в положении путника, которому приходится лезть на стену или прыгать с обрыва. В этих условиях идеи, сравнительно мирно горевшие на Западе, давая короткие, быстро гаснувшие вспышки, вызвали опустошительные пожары.

На Западе идея Утопии подтолкнула социальные реформы и выдохлась. Не было серьезных попыток реализовать Утопию (как в России, в Китае, во Вьетнаме и Камбодже). Не было потому, что головы не так сильно кружились, потому что не приходилось перескакивать из XVII века в XX, из одной культуры в другую.

На Западе идея нации возникла в государствах, уже сложившихся в своих границах, со своим утвердившимся литературным языком. Слово «нация», получившее современный смысл в XVIII веке, обозначило здесь переход от верности королю к суверенитету народа. Нация – это подданные короля, осознавшие себя сувереном. Вопросы о границах здесь не было. Другое дело – в Центральной Европе. Идея нации стала здесь призывом к войне. Объединение Германии вытолкнуло Австрию и подчинило всех северных немцев воинственной Пруссии. Неясность пределов, за которыми кончается Германия, вызвала к жизни пангерманизм. Его агрессивные планы сказались накануне первой и второй мировой войны. А в Восточной Европе идея нации, натолкнувшись на долговечные многоплеменные империи, взорвала их. Не существует ясного различия между угнетенной нацией, способной создать современное государство, и национальностью, численно незначительной, недостаточно развитой или живущей вперемешку с другими. Этническое единство создается здесь этническими чистками. Национальное вырождается в племенное, национализм в трибализм. Фихте, обратившийся к германской нации со своими речами, не подозревал, какую кровавую жатву принесет его посев.

Я не хочу сказать, что идея нации с самого начала имела демонический характер или что злой дух вдохновлял Сен-Симона и Фурье. Никто не заставлял Ленина перейти от социал-демократии к большевизму. Никто не заставлял Гитлера истреблять целые народы. И никто не заставляет убивать друг друга в Боснии, на Кавказе и в Закавказье. Основная ответственность лежит на толкователях принципа.

Однако современный Запад несет миру не только такие идеи, оправданные в его собственном развитии и всего лишь двойственные по возможным следствиям. Профессор Эрнст, выступая на конференции «Регионы в кризисе» (Ко, август 1994-го), назвал падение шахского режима «антипорнографической революцией». Запад стал символом разрушения духовной иерархии, превращения святынь в «ценности», лежащие на одном уровне. Свобода чувственных наслаждений и свобода каприза занимают пространство внутренней свободы. И если Запад, вырабатывая этот яд, сам от него не гибнет, то только благодаря хорошим привычкам, сложившимся до XX века, – привычкам дисциплинированного труда, ответственности, уважения к закону. В России эти привычки отчасти не успели сложиться, отчасти были расшатаны в годы

советской власти. Оставшись без партийного руководства, современный русский человек не умеет выбирать и берет подряд все, что легче взять: секс-шопы, эротик-шоу и т. п. – или разгорается ненавистью ко всему западному.

Один из моих друзей, побывав в Америке, спросил: «Скажите, что у вас самое пошрое?» – «Зачем вам это? – ответили ему. – У нас есть много другого». – «Знаю, – сказал мой друг. – Но мы будем усваивать самое пошрое». В Америке ее пороки уравновешены ее достоинствами. Достоинства трудно перенести на другую почву, а пошлость, как сорняк, всюду пускает корни.

Русское слово «пошлость» трудно перевести. Легче указать на примеры. Это полупросвещение аптекаря Омэ, набор общих мест, самодовольная поверхностность. Пошлость – плата за развитие, за открытие глубин, недоступных среднему человеку, за богатства духа, не влезающие в его голову. История создает на одном конце – сильно развитую личность (князь Мышкин), а на другом – пошляка (Ракитина или г-жу Хохлакову... Тут очень много разновидностей). В примитивных обществах нет ни гениев, ни пошляков. Дикарь не пытается сделать вид, что он понимает Баха, он натурально любит тамтам. Попав в город и нахватавшись городской цивилизации, крестьянин становится персонажем Зоценко, человеком полупросвещенным, вульгарным. Вульгарность – один из синонимов пошлости. Итог цивилизации – переход от грубости к пошлости. Буржуазная цивилизация XIX века была пошлой для русской аристократии, приобщившейся к духовным вершинам того же Запада. Это отношение было унаследовано и русской интеллигенцией.

Пошлость отталкивает и вызывает бунт. «Пускай земле под ногами припомнится, кого хотела опошлить!» – писал молодой Маяковский. Сын упившегося Ноя – Хам. Смердяков, сын Федора Павловича Карамазова, стал его убийцей. Эстетический бунт поддерживает бунт социальный. Так было в начале XX века, когда поэты упивались революцией и мысленно бросали в ее костер буржуазную пошлость. Так и сейчас: пошлость «новых русских» толкает в объятия «красно-коричневых» (блока пожилых большевиков и молодых фашистов).

Журнал «Искусство кино» (1994, № 9) опубликовал диалог между Аллой Гербер (страстной противницей фашизма) и режиссером Станиславом Говорухиным. Приведу несколько строк из реплики Говорухина: «Страна четко работает в режиме колонии... Мы фактически отказались от своей культуры, искусства. Мы отказались от науки, от высокой технологии... Или такая деталь – английский язык практически стал вторым государственным языком, доллар – национальная валюта... Растет новое поколение, которому, откровенно говоря, до фени, что была такая великая духовная страна Россия. Им все равно, где жить – в колонии или в державе. Я видел детей в городе Забайкальске, которые ночью грабят вагоны, а днем работают рикшами у китайцев, перевозят грузы – и счастливы. Они любят такую жизнь... А мне не хочется так жить – в колонии. И смотреть, как гибнет духовная Россия». Говорухин поддерживает оппозицию реформам, называющую себя «духовной оппозицией», и в духе этой оппозиции смешивает духовное с державным. Лариса Миллер этого не делает. Но картина жизни, которую она рисует на страницах «Литературной газеты» (1994, № 50), перекликается с говорухинской: «Недавно по одному из телеканалов показывали клип: поп-звезда в роскошной машине подъезжает к храму. Ее спутник открывает дверцу и помогает ей выйти. Она входит в храм и останавливается перед распятием. Разыгравшееся воображение рисует ей Страсти Господни... И все это – под звуки дешевого шлягера, исполняемого звездой. Не успевают стихнуть последний звук шлягера, как на смену Страстям Господним приходят другие страсти. На экране – реклама: чьи-то цепкие пальцы ловко пересчитывают пачку зеленых. «Сделайте правильный выбор». Не желаете? Тогда... вырубите ящик и возьмите в руки газету. Ну хотя бы вот эту, где целая полоса отдана искусству. «Снято конгениально, – говорится в рецензии на кинопремьеру. – Чуть что, камера заглядывает в зеркала (отражения, философия). При всяком гигиеническом случае подробно показывают женские сиси (кино ведь у нас)...» Полный нокаут. Вы отбрасываете газету, бормоча что-то невнятное про безвкусицу и пошлость (ту самую *poshlost*, для которой Набоков не нашел достойного аналога в английском языке)».

«По-видимому, пора сделать недвусмысленный вывод, давно уже ставший прочным достоянием теории модернизации, – пишет культуролог Александр Панарин. – Попытка механического заимствования западных ценностей и образцов приводит к самым негативным последствиям.

Западный соблазн для нашей культуры состоит не просто в том, что данная цивилизация стала для нас «референтной группой» и мы испытываем чувство ущемленности при сопоставлении с нею наших реалий. Проблема состоит в неадекватном прочтении чужого опыта. Тонкая внутренняя игра западной культуры, состоящая в балансировании между аскезой труда и гедонизмом досуга и потребительства, на расстоянии не улавливается. Как оказалось, чужая культура не может передать другим свою аскезу (в западном варианте это в первую очередь протестантская аскеза). А вот ее внешние плоды, в виде высокого уровня потребления, комфорта, индустрии досуга и развлечений, впитываются как наркотик. Применяемая к нашим условиям теория модернизации многое разъясняет. Если речь идет о заимствовании «субкультуры досуга и потребительства», то для некоторых слоев нашего населения, в особенности молодежи, это уже состоялось. Если же иметь в виду продуктивную систему Запада, в основе которой лежит культура труда, профессиональной ответственности, законопослушания и т. п., то в этом отношении односторонняя имитаторская вестернизация скорее удаляет, чем приближает нас к целям подлинной модернизации...

Нынешняя разруха и люмпенизация населения – феномен не столько социально-экономический в собственном смысле, сколько культурный. В основе его лежит не столько унаследованная от прошлого отсталость страны, сколько отторжение от собственной культуры, ее норм и традиций – цивилизационная дезориентация народа. Главное средство борьбы с этим – обретение своей цивилизационной идентичности: того внутреннего гармонического универсума, в котором нормы-цели и нормы-рамки, притязания и возможности в основном совпадают. Но в процессе обретения своей цивилизационной идентичности России предстоит нелегкий путь» (сб. «Цивилизации и культуры». Вып. 1. М. 1994, стр. 89 – 90).

## **2. Разрушительная сила русской воли**

В 70-е годы в журнале «Синтаксис» были опубликованы работы двух авторов (Л. Пинского и Л. Седова), независимо друг от друга описавших русскую культуру как «подростковую», несовершеннолетнюю. То, о чем говорят С. Говорухин, Л. Миллер и А. Панарин, и впрямь очень похоже на поведение подростка. Прежде всего недоросль усваивает табак и водку, а трудолюбие и выдержку оставляет на будущее. Были попытки объяснить это относительной молодостью России (Русь была крещена лет через пятьсот после Франции). Однако саксы были крещены Карлом Великим довольно поздно, Скандинавия – еще позже, Исландия – намного позже Руси. Хватило нескольких веков, чтобы вжиться в западнохристианский мир. Хватило бы и России. Но ей пришлось вживаться в несколько культурных миров (или, как я это назвал, субэкумен). От чересполосицы культурных пластов «широта» русской культуры и ее незавершенность – два качества, тесно связанные друг с другом.

«Я, пожалуй, и достойный человек, – говорит Алексей Иванович в «Игроке» Достоевского, – а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть? Да все русские таковы, и знаете почему: потому что русские слишком богато и многосторонне одарены, чтоб скоро приискать себе приличную форму. Тут дело в форме. Большею частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну, а гениальности-то всего чаще и не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много форма у них и значит».

«Все русские» – конечно, гиперболы. Достаточно вспомнить четырех сыновей Федора Павловича

Карамазова (трех законных и одного незаконного, Смердякова), чтобы вернуться к реальной сложности проблемы. Но в русском наследии действительно заключены цивилизационные начала и Византии, и Татарии, и Запада. Создать из всего этого устойчивую форму непросто. Отсюда превосходство бродящего духа над формой – в том числе формами общежития – и постоянная угроза хаоса. Нечто подобное Клиффорд Герц отметил в Индонезии, также складывавшейся на перекрестке культурных миров.

О текучести русской культуры размышлял, отбывая срок, Синявский. «Религия Святого Духа как-то отвечает нашим национальным физиономическим чертам – природной бесформенности (которую со стороны ошибочно принимают за дикость или за молодость нации), текучести, аморфности, готовности войти в любую форму... нашим порокам или талантам мыслить и жить артистически при неумении налаживать повседневную жизнь как что-то вполне серьезное... В этом смысле Россия – самая благоприятная почва для опыта и фантазий художника, хотя его жизненная судьба бывает подчас ужасна.

От духа – мы чутки ко всяким идейным веяниям, настолько, что в какой-то момент теряем язык и лицо и становимся немцами, французами, евреями и, опомнившись, из духовного плена бросаемся в противоположную крайность, закостеневаем в подозрительности и низколобой вражде ко всему иноземному... Мы – консерваторы, оттого что мы – нигилисты, и одно оборачивается другим и замещает другое в истории. Но все это оттого, что Дух веет, где хочет, и, чтобы нас не сдуло, мы, едва отлетит он, застываем коростой обряда, льдом формализма, буквой указа, стандарта. Мы держимся за форму, потому что нам не хватает формы, пожалуй, это единственное, чего нам не хватает; у нас не было и не может быть иерархии или структуры (для этого мы слишком духовны), и мы свободно циркулируем из нигилизма в консерватизм и обратно» («Голос из хора»).

«Цивилизационная идентичность» и «внутренне гармонический универсум», о которых пишет А. Панарин, всегда были для России проблемой, а не данностью; с ней сталкивается и XIX век. Помимо Достоевского можно вспомнить К. Леонтьева, остро чувствовавшего «шаткость» России. Развитие свободных городов, сходных с западными, было рано прервано и подавлено самодержавием Москвы, «самого отатаренного из русских княжеств» (Федотов). С этих пор в России чередуются периоды «смуты», праздника дикой воли, и деспотизма. В. Шульгин, сторонник самодержавия, называл это периодами греха и покаяния. Порядок каждый раз сражался с анархией и восстанавливался еще более деспотичным, еще более жестоким. Развитие цивилизации шло через развитие рабства, а не свободы. Если гнет слабел, система рушилась – как в 1917 году и в 1991-м.

«Слово «свобода» до сих пор кажется переводом французского *liberte*, – писал Г. Федотов. – Но никто не может оспаривать русскости «воли». Тем необходимее отдать себе отчет в различии воли и свободы для русского слуха.

Воля есть прежде всего возможность жить, или пожить, по своей воле (здесь это слово означает: по своему желанию. – Г. П.), не стесняясь никакими социальными узами, не только цепями. Волю стесняют и равные, стесняет и мир. Воля торжествует или в уходе из общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми. Свобода личная немислима без уважения к чужой свободе; воля – всегда для себя. Она не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо. Разбойник – это идеал московской воли, как Грозный – идеал царя. Так как воля, подобно анархии (еще один синоним. – Г. П.), невозможна в культурном общежитии (в правовом порядке. – Г. П.), то русский идеал воли находит себе выражение в культе пустыни, дикой природы, кочевого быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвенной страсти, – разбойничества, бунта и тирании... Бунт есть необходимый политический катарсис для московского самодержавия, исток застоявшихся, не поддающихся дисциплинированию сил и страстей. Как в лесковском рассказе «Чертогон» суровый патриархальный купец должен раз в году перебеситься... так московский народ раз в столетие справляет свой праздник «дикой воли»,

после которой возвращается, покорный, в свою тюрьму. Так было после Болотникова, Разина, Пугачева, Ленина» (из статьи «Россия и свобода»).

В терминах Федотова, проблему реформ можно определить как возвращение от московской линии развития к новгородской (поддержанной влиянием Запада). Пока что это не удается. Государственные служащие и предприниматели состязаются друг с другом в интерпретации свободы как разбойной и тиранической воли. Сказывается неподготовленность реформ, отсутствие разработанных законов и практик. Я знаком с предпринимателями, говорившими мне, что попытка честно вести дело ведет к немедленному разорению. Но даже если (через десятки лет) удастся создать всю необходимую правовую и административную структуру, русский деловой стиль будет сильно отличаться от западного – размахом, обилием идей и нехваткой тщательно отделанных деталей. Обратная сторона русского величия – русский хаос:

Вейте, вейте, снежные стихии,  
Заметая древние гроба:  
В этом ветре – вся судьба России –  
Страшная, безумная судьба.  
В этом ветре – гнет оков свинцовых,  
Русь Малют, Иванов, Годуновых –  
Хищников, опричников, стрельцов,  
Свежевателей живого мяса,  
Чертогона, вихря, свистопляса:  
Быль царей и явь большевиков.

Что менялось? Знаки и возглавья.  
Тот же ураган на всех путях:  
В комиссарах – дурь самодержавья,  
Взрывы Революции – в царях.

Вздеть на виску, выбить из подклетья

И швырнуть вперед через столетья  
Вопреки законам естества –  
Тот же хмель и та же трын-трава.  
Ныне ль, даве ль – все одно и то же:  
Волчьи морды, машкеры и рожи,  
Спертый дух и одичалый мозг.  
Сыск и кухня Тайных канцелярий,  
Пьяный гик осатанелых тварей,  
Жгучий свист шпицрутенов и розг,  
Дикий сон военных поселений,  
Фаланстер, парадов и равнений,  
Павлов, Аракчеевых, Петров,  
Жутких Гатчин, страшных Петербургов,  
Замыслы неистовых хирургов

И размах заплечных мастеров...

(М. Волошин, «Северовосток»)

Если человечеству суждено погибнуть от ядерной войны, вряд ли это обойдется без участия России. Но будем надеяться, что победит дух диалога – и внутри России, и в отношениях России с миром.

### 3. Разрушительная сила идейности

За последние годы разговоры о русской идее перестали быть семейным делом славянофилов и неославянофилов. В обсуждение этой темы втянулись такие люди, как Шумейко. Стоит удивиться: зачем это нашим известным политикам? Почему англичане не толкуют об английской идее, французы – о французской? Видимо, резко обострился «кризис национальной идентичности». Чувство неуверенности в себе стало политической проблемой. Перефразируя одного из персонажей Достоевского, «если России нет, то какой же я капитан?». Это, впрочем, старая проблема. Незавершенность русской культуры была и болезнью, и творческим импульсом. Без нее нельзя понять ни срывов, ни взлетов Достоевского.

Незавершенность можно объяснить огромностью России и ее положением на стыке всех великих цивилизаций. Франция всегда была в центре латинского Запада, и поэтому вопрос, в чем сущность Франции, как-то не беспокоил умы. А Россия втягивалась то в одну вселенную, то в другую. И возникали сомнения: вокруг какого солнца мы движемся?

Культурный мир, культурный круг, цивилизацию можно сравнить со вселенной; Россия, примыкая то к одной, то к другой, как бы кочует по галактикам. Князь Игорь – на три четверти половец, свободно говоривший на языке своей матери и бабушки; в «Слове...» больше тюркизмов, чем галлицизмов у Пушкина. Духовная культура Сергия Радонежского и Нила Сорского, Рублева и Дионисия уходит своими корнями в Византию; Б. Раушенбах показал, что «Троица» Рублева строго следует всем постановлениям VII Вселенского собора. Московское самодержавие строилось по татарским образцам. Двор Екатерины состязался с Версалем, и писатели XIX века – с Бальзаком и Диккенсом... Как соединить степную волю и византийский канон, татарский деспотизм и европейский дух свободы? Русский человек еще ищет себя, и русская идея – один из путеводителей в этих поисках. Наряду со вселенскими идеями.

Сегодняшние споры – после смерти империи. Смерть требует воскресения. Всякая смерть. Что-то умерло вместе с империей. И что-то должно возродиться. Но что именно?

Одно из великих духовных событий – узнавание. Надо узнать ростки нового на старом пепелище, поддержать их, помочь им. Сейчас доброе растет, как морковь, а злое – как сорняк, и за пышным ростом сорняков моркови почти не видно. Наши разговоры о русской идее – попытки мысленно отделить морковь от сорной травы, мысленно выдрать сорняк и помочь морковке. Это еще не действие, но подготовка к действию. И она необходима. Я надеюсь, что когда-нибудь сложится русский стиль (наподобие французского, немецкого, английского стиля решения мировых вопросов) и в этом стиле разговоры о русской идее растворятся, но сегодня они нужны. Однако я очень боюсь единственного числа идеи. Попытки вогнать всю Россию в свою любимую идею – болезнь, связанная, возможно, с недостатком философской культуры, с непониманием диалога как формы истины. Даже в наши дни, после всех жестоких опытов, Солженицын убежден, что «во всех науках строгих, то есть опертых на математику, истина одна» (из статьи «Наши плюралисты»). Первым жестоким опытом идейности была опричнина. Это вовсе не простое безобразие. Иван Грозный хотел преодолеть русский беспорядок, создать царство-монастырь во главе с царем-игуменом и чтобы во всей Руси было благолепие, как в монастыре. Идея заимствована из византийского наследия, но доведена до абсурда (черта, которая потом несколько раз повторялась).

Второй русской идеей было – превратить Россию в Голландию. Для полного сходства и каналы копались, и в язык напихивались голландские и немецкие слова. Славянофилы возразят, что идея Петра – антирусская. Не более, однако, чем византийская идея Ивана Грозного. Русским в обоих случаях был стиль осуществления идеи. Как заметил Плеханов, по методам своим Петр был славянофил (шел традиционным для российской государственности путем усугубления рабства). А если говорить о последствиях, то Петр был меньшим утопистом и большим реалистом, чем его

предшественник (Иван Грозный) и последователь (Ленин). Или (другими словами) – в его утопии было зерно исторически плодотворной реформы: выход Московской Руси из изоляции, восстановление традиционных связей восточного славянства с западным христианским миром. Попытка создать самостоятельный мир на основе гордыни «Третьего Рима», без культурных ресурсов, необходимых для цивилизации, не удалась, Петр это верно почувствовал и верно решил, что Россия не затеряется в Европе. Она действительно не затерялась и ответила на вызов Запада романами Достоевского и Толстого. Но ответила – потом, когда жесткая прямолинейность идеи, «неразвитая напряженность принципа» (Гегель) смягчилась и Запад перестал вколачиваться с помощью пыток и казней.

Третьей русской идеей была ленинская. И опять: традиционным был стиль ее воплощения. На пути к ассоциации, в которой свободное развитие всех будет условием свободного развития каждого, снова создана была опричнина (партия нового типа) и снова закрепошен народ. В Восточной Европе эта система держалась только на русских штыках. Но в современной России есть массовое желание восстановить «реальный социализм». Компартия Зюганова не вернулась к социал-демократии, как коммунисты Польши и Венгрии, как некоторые у нас. Продолжается сдвиг в другую сторону – к национал-коммунизму, аналогии немецкого национал-социализма. Победа красно-коричневого блока на выборах была бы, возможно, не игрой парламентских качелей, а концом игры, возвращением к тоталитаризму, после которого неизбежен новый застой, крах и новая смута.

Российская идейность ставит все на карту одной идеи, воплощает ее с жестокой энергией и каждый раз приходит к краху. Некоторые черты идейности можно заметить и в либеральном лагере, у энтузиастов рынка. Но господствующее, все ширящееся настроение наших современников – безыдейность.

#### **4. Разрушительная сила безыдейности**

Внутренний распад идеократии по-разному отразился в романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицына и «Москве – Петушках» Венедикта Ерофеева. Я ограничиваюсь тремя именами, замечательными для трех поколений. Гроссман начинал как советский писатель. Советский путь глубоко разочаровал его, но остался в душе идеал, вдохновлявший революционеров: свобода. Солженицын как человек и как писатель сложился в лагере, он с самого начала полон страстной ненависти к советской системе, он хочет разрушить ее (как коммунисты – старый мир) «до основанья, а затем...» – затем вернуться к исконным началам русской жизни. Это опять идейность. Венедикт Ерофеев вырос двадцать лет спустя, и ему даже ломать ничего не хочется. Его просто тошнит.

Гроссман и в особенности Солженицын вызвали огромный общественный отклик, политический отклик. Ерофеев такого отклика не вызвал. Он ни к чему не зовет. Захватывает только его стиль, поразительно совершенный словесный образ гниющей культуры. Это не в голове родилось, а – как ритмы «Двенадцати» Блока – было подслушано. У Блока – стихия революции, у Ерофеева – стихия гниения. Ерофеев взял то, что валялось под ногами: каламбуры курительных комнат и бормотанье пьяных, – и создал шедевр, создал язык безупречно выразительный и чуждый пошлости даже в разговорах о самых пошлых предметах. Это стиль эпохи, немислимый ни в какое другое время. Для пишущей братии влияние Ерофеева оказалось просто неотразимым. Почти всех нас мучает (или мучило в юности) отсутствие стиля, а тут вдруг такая органика, такая цельность – и без всяких котурнов. Плыви и плыви по течению жизни, как Василий Васильевич Розанов (любимый писатель Ерофеева. Живший, правда, в другое время, когда течение было поспокойнее и еще не обрушивалось в клоаку).

Я очень неоднозначно воспринял книгу «Москва – Петушки». С одной стороны, меня оттолкнула авторская позиция – сдача на милость судьбе, стремление быть «как все», добровольное погружение в грязь, паралич воли. И вместе с тем был в ней тот пафос, который можно назвать

старыми словами «срывание всех масок», – пафос правды о реальной жизни народа, пафос, если хотите, жизни не по лжи, но без риторики. И была какая-то энергия бунта: хоть в канаву, но без вранья, своего рода юродствующее освобождение от советской фальши. И еще одно: написанное звучало для меня эпитафией по тысячам и тысячам талантливых людей, которые спились, потому что со своим чувством правды в атмосфере всеобщей лжи были страшно одиноки.

При всем моем органическом неприятии безвольной покорности судьбе я не могу не относиться к этой книге как вещи глубоко трагичной и к человеку, написавшему ее, как к трагической фигуре истории.

Но сейчас другое время. Сейчас нет прежней показухи. На смену ей пришла инерция развала, инерция упоения развалом, и я по мере своих сил чувствую потребность сопротивляться этому.

Я понимаю, что поэту, писателю нельзя диктовать, что писателю диктует его стихийный дар, но я не могу не пытаться чем-то уравновесить тот поток чернухи, что хлынул в нашу литературу. «Отменили цензуру, – пишет об этом в одной из своих статей Зинаида Миркина. – Правда перестала быть опасной и хлынула потоком. Одно время была надежда, что эта правда очистит и преобразит нас, но этого не произошло. Информация об ужасах прошлого не уменьшила ужасов настоящего. Правда, которая нам открылась, оказалась нам не по плечу. Рильке сказал: «Прекрасное – это та часть ужасного, которую мы можем вместить». Мы не вместили правды о прошлом, и правда, не вмещенная в нас, грозит затопить нас. Захватывает упоение, увлечение распадом, духовная капитуляция перед хаосом или еще хуже – бегство в новые мифы, поиски виноватого, попытки переложить ответственность на чужие плечи».

Опасность, грозящая со всех сторон, втискивается в образ врага. Страх бездны, в которую все рушится, вытесняется ненавистью к козлу отпущения, который во всем виноват. Тогда как на самом деле отчаянье и ненависть одинаково губительны.

Есть мифы – и мифы. Есть метафоры божественной цельности, которую нельзя втиснуть в логику. Без них не обходится ни религия, ни поэзия. А есть мифы, за которыми сквозят только самые пошлые страсти. Можно назвать их мифами для людей глупых, слабых или ослепленных страстью, не способных или просто не желающих принять разумное объяснение фактов и даже принять сами факты – неприятные, болезненно тревожащие душу, невыгодные. Например, гитлеровский миф об ударе ножом в спину победоносной германской армии в ноябре 1918 года. На самом деле фронт был прорван союзниками в сентябре, остановить их немецкое командование не могло и война приближалась к границам фатерланда. Поражение стало фактом, понятным рядовому немцу, и революция смела империю. Гитлеровская пропаганда объявила следствие поражения причиной поражения, и этот миф подкрепили другие мифы того же сорта: об арийской расе, которой грозят жидомасоны, протоколы сионских мудрецов и т. п. Сперва на дешевку мало кто клюнул, но экономический кризис 1929 – 1933 годов, безработица, безнадежность лишили немцев здравого смысла. Они бросились за «мифами XX века», как за дудочкой Крысолова, и скатились в пропасть второй мировой войны.

Теперь духовная рухлядь, заимствованная у российской «черной сотни», вернулась на родину. «Протоколы сионских мудрецов» продаются на паперти храмов, и есть десятки романов и повестей, стихов, картин, написанных маслом, кинокартин и телепередач, в которых истлевший образ врага наполняется новой жизнью. С одной стороны, нагромождение черной правды, доводящее до отчаяния, с другой – призыв к ненависти, объявленной спасением. Упоение распадом и шовинистическое беснование поддерживают и вдохновляют друг друга.

Беспросветно черная правда – это ложная правда, это инерция подлинной, кровной правды вчерашнего дня, ставшая модой, тень, отброшенная неполной истиной и ставшая ложью. Человек бессилен перед тьмой, сдается тьме, безвольно погружается во тьму. Впрочем, лучше передать это словами современного автора: «В глубине сердца нет нравственного закона, а лишь ничто и



тьма безбожная, и Кант, Достоевский, Соловьев, выводившие Бога из нравственности, должны бы сделать вывод, что Его нет, а они это не сказали из трусости и бесчестности, а возможно, не имели истинного, обнаженного экзистенциального опыта... Достоевский, написавший «Записки из подполья», имел этот опыт, но скрыл правду» (Федоров Е. Одиссея. – «Новый мир», 1994, № 5, стр. 64).

Роман «Одиссея» стилизован под записки лагерника примерно 1949 – 1954 годов. В 1950 – 1953 годах я отбывал срок на том же лагпункте, дружил с автором и свидетельствую, что этих мыслей у него тогда не было. Не было их и в первых вариантах романа, написанных в 60-е годы. «Жареный петух», «Илиада» и «Одиссея» Федорова – явления литературы 70 – 80-х годов. Федоров на десять лет старше Венедикта Ерофеева, но как писатель он моложе и переработал свой лагерный опыт в духе 70-х годов, в духе времени, когда и частушки свидетельствовали о гнили:

Скоро я умру, скоро все умрем,  
Приходи ко мне, погнием вдвоем!..

В историческом романе всегда есть время повествования и время автора. В «Жареном петухе» рассказчик погружает трагическое прошлое в современную пошлость, смакует лагерный секс, как бы заново переживает то, что оттолкнуло и потрясло юношу, глазами состарившегося пакостника. Этот роман мне не захотелось дочитывать. В «Одиссее» переработка прошлого сделана тоньше, сохранено чувство меры, роман удался, читается с увлечением, с сочувствием к мальчику, брошенному за колючую проволоку. Именно потому мне захотелось поспорить с книгой, и в эссе «Белые ночи» («Литературная газета», 1994, № 35) я подчеркнул то, что Федоров вынес за скобки, то, что уравновешивало тяжесть лагерной жизни: чувство внутреннего освобождения после сброшенного с себя советского двоемыслия, кружок интеллигентов, бескорыстно помогавших друг другу, и праздники беззакатного северного света. Белые ночи любил и Федоров, но не захотел вспоминать: они разрушали «ерофеевский» колорит погружения во тьму, – а я помню. И помню, что вышел из лагеря, уверившись в своей способности оставаться самим собою при любых неудачах. Это прямая противоположность выводам Васяева. Впрочем, массовое переживание лагеря рассыпается на множество судеб и характеров. «Влияние лагерной жизни на человека не... однозначно... Она его не портит и не улучшает, но беспощадно выявляет заложенные в нем еще на воле задатки» (Фильштинский Исаак. Мы шагаем под конвоем. М. 1994, стр. 4). И три наши книги об одном лагпункте подтверждают это.

Дело не в лагерной теме и вообще не в теме. На одном и том же материале рядовой советской семьи строится черная проза Л. Петрушевской и розовая – Л. Улицкой. Я останавливаюсь на лагерной трилогии Е. Федорова только потому, что многие фамилии там подлинные, многие факты я могу подтвердить и мне легче отделить логику автора от логики жизни. Федоров ссылается на Шаламова. Но Шаламов просто рисует, как человек погибал или превращался в ветошку. Он не делает вывода, что человек есть ветошка. И рядом с его безнадежными рассказами – стихи о красоте Севера. Красота мира спасает душу лагерника от гибели. Чтобы до конца раздавить человека, надо было не только упразднить классическую литературу (а она оставалась в памяти – об этом есть письма Шаламова Пастернаку). Надо было еще лишить человека красоты Божьего мира. И Федоров в своих романах доделывает то, что не смог сделать Сталин: зачеркивает красоту природы. Это не только у него. Это черта нескольких текстов, прочитанных мной в 1994 году. В повести А. Саломатова «Синдром Кандинского» («Знамя», 1994, № 4) Кавказ описывается так, словно это физиономия Брежнева, – с чувством ерофеевской тошноты. А в романе Ю. Нагибина «Дафнис и Хлоя» («Октябрь», 1994, № 9 – 10) нет ни слова о красоте Крыма (где встречаются герой и героиня). Можно подумать, что Бог помрачил глаза поколения, обреченного сгнить. Замечательно, что книги Б. Сергуненкова, поразительные по глубине созерцания красоты леса, это поколение не заметило. (Кстати, люди 20-х годов заметили Пришвина...)

70-е были временем поворота к религии; и в «Одиссее» Е. Федорова есть намек, который нельзя пропустить: «Он теперь знал, что нет такой подлости, которую он бы не мог совершить. Он понял, что ничем не лучше других и даже хуже, мерзее...» Можно увидеть здесь отсылку к молитве мытаря. Однако в традиции, к которой примкнул Федоров, нет воли к освобождению от греха (которая, думается, была у евангельского мытаря). Надежда на спасение основана – как у Мармеладова – на одном сознании своей грешности, на смирении. Достоевский, в порыве сострадания к падшим, вложил в уста Мармеладова гениальную проповедь, захватившую о. Иосифа Фуделя, и он произнес в своей церкви проповедь, заканчивавшуюся словами: «Радуйтесь, грешники! Праведников введет в рай ап. Петр, а вас сама Божья Матерь» (свидетельствовал сын И. Фуделя, С. И. Фудель). Так веровал и В. В. Розанов, и Венедикт Ерофеев. Не знаю, верует ли так Е. Федоров или стилизует веру. Во всяком случае, выдвижение на первый план мармеладовской религиозности не очень благоприятно для роста нравственной воли.

Инерция распада ведет во «тьму низких истин». Любовь как сердечное чувство, разгорающееся в груди, прежде чем дело доходит до прикосновений, почти исчезла со страниц рассказов и повестей. Само слово «любить» уступает слову «трахать». Наряду с ним широкое право гражданства получили непечатные глаголы. «Окончательных запретов на определенные слова и словосочетания в секулярной литературе нет. Ругайся на здоровье, если нравится и умеешь, – пишет об этом Андрей Анпилов (просьба не путать с красно-коричневым политиком Анпиловым). – Но есть же существенная разница между буквальная матерщиной Ю. Алешковского и Лимонова и застенчивыми, почти детскими обмолвками Венедикта Ерофеева и Довлатова! Главное – уместный тон, обаятельная интонация. В этом смысле на правило найдется исключение. Табуированной лексики, может быть, нынче и нет, но право на ее использование берется каждый раз силой, если хотите, – да, силой вдохновения. Что позволено Юпитеру, то для бычка – смерть!» (Анпилов А. «Что Юпитеру здорово, то для бычка – смерть». – «Литературная газета», 1994, № 50). Анпилов (к статье которого мы еще вернемся) указывает на самую суть дела: отсутствие внешней узды предполагает внутреннюю сдержанность, внутреннее чувство меры. Без нее свобода переходит в беспредел. Есть беспредел коррупции, беспредел преступности – и беспредел литературной разнузданности. Всюду одна и та же проблема свободы и воли.

## 5. Противостояние на плоскости

Мыслящая и пишущая Россия раскололась в основном на два враждебных лагеря, пародирующих спор западников и славянофилов. С одной стороны, честный, но бездуховный рассудок космополитического либерализма; с другой – извращенная духовность, языческий культ ненависти, силы и насилия. Это не чисто русское явление, и понять его можно только как взаимодействие двух процессов – мирового духовного кризиса, мирового конфликта глобального и этнического с русскими поисками выхода из-под обломков Утопии. Глобальные угрозы вроде озоновой дыры требуют глобальных решений; но нет воплощения вселенского духа, способного захватить сердце, и наступление рациональной, духовно ничтожной, пошлой космополитической цивилизации вызывает яростное сопротивление этносов, конфессий и национальных культур. Так это и на самом Западе, в Ольстере, в Бельгии, в Квебеке, в европейском антиамериканизме, но гораздо острее – на Юге и Востоке. В том числе в России. Свобода, веющая с нынешнего Запада, – это не только права человека, это свобода порнографии, эмансипации однополый любви, постмодернизм, деконструктивизм... С этим можно жить, пока живется, но нельзя переломить инерцию, влекущую к гибели. И здесь я снова процитирую Анпилова: «Иерархия ценностей, духовная вертикаль рухнула в результате распада единого образа мира на вариативные осколки. Ни один не лучше другого: у Библии нет преимущества перед Ригведой, у фрейдизма – перед герменевтикой, у дядьки – перед бузиной. Истина – йок, нравственность релятивна, стихи улетучились из воздуха, которым мы дышим...

Виктор Ерофеев преподносит дело так: высокая литература была присвоена официальной

идеологией, слово превратилось в проститутку, потому что «подмахивало» официальной пропаганде. Но, продолжая в подобном духе, можно сказать, что ни Моцарта, ни Гёте не существует для принципиального человека...

Что ж, это можно понять. Это неизбежные рецидивы недавнего подпольного прошлого, протуберанцы озлобленного сознания, затурканного на долгие годы тоталитарной муштрой...» Однако «почему же с перьев наших соц-поп-артистов льются исключительно макабрические гнусности? А то, что не гнусно, – то скучно? Ради чего было огород городить?»?

И не стоило, отвечает Станислав Говорухин – отвечает газета «Завтра». Не стоило менять нашу святую Русь на чечевичную похлебку Запада. «Духовная оппозиция» – это эффектная фраза, политическая риторика. Но не только риторика. Сегодняшние духоносцы опираются на консервативную русскую мысль XIX века, и, хотя сами они не очень даровиты, им есть что цитировать:

«Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила непрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит Писание, «реки воды живой», иссякновением которых так угрожает Апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как отождествляют они же. «Искание бога» – как называю я всего проще. Цель всякого движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание бога, бога своего, непременно собственного, и вера в него как единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий Бог, но всегда и у каждого был особый. Приznak уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особеннее его бог. Никогда не было еще народа без религии, то есть без понятия о зле и добре. У всякого народа свое собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы, тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда разум не в силах был определить зло и добро или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал; наука же давала разрешения кулачные. В особенности этим отличалась полунаука, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, неизвестный до нынешнего столетия».

Достоевский – великий мастер логически расшатанной, сбивчивой речи, и монолог Шатова, который я цитирую, захватывает. Легко заметить, что боги здесь – языческие боги, у каждого народа свои и действительно связанные с неповторимыми обычаями. И если свезти их в одно место и установить рядышком в Пантеоне, то это говорит о распаде племенной и народной нравственности. Но Бог Авраама в эти рассуждения не вмещается. Можно указать и на другие ошибки. Однако подобные ошибки делает на каждом шагу и Лев Николаевич Гумилев в своей теории этносов. Те, кого захватывает пафос этнической идеи, не замечают нелепостей. Более того. Я признаюсь, что каждый раз читаю Шатова с волнением, не только отдельные мысли, с которыми согласен. Берет за живое и то, с чем я решительно не согласен. Чувство откликается на то, что разум отбрасывает как логический мусор.

Можно заметить, что для православного христианина, которым считал себя Шатов (и сам Достоевский), некоторые его суждения еретичны. Но это общая ересь, и общая для очень многих в России. «Вдумчивому члену русской Церкви, – пишет П. А. Флоренский, – бывает ясна двухсоставность русского Православия, чтобы не говорить о большем числе слоев, налегших на Православие, но, впрочем, ему чуждых и с ним не слившихся. Эти два основные элемента

русской православности суть: естественная психология и весь душевный и общественный склад русского народа – с одной стороны, и вселенская церковность, полученная русским народом через греков. Люди всегда склонны сотворить себе кумир, чтобы избавить себя от подвига служения вечному и пассивно предаться простой данности. Этот кумир может быть весьма различным. Для русских православных людей таким кумиром чаще всего служит сам русский народ и естественные его свойства, которые ставят они перед собою на пьедестал и начинают поклоняться, как Богу. Вера в быт превышает требований духовной жизни, обрядоверие, славянофильство, народничество силится стать на первое место, а вселенскую церковность поставить на второе или вовсе отставить.

В основе всех этих течений лежит тайная или явная вера, что русский народ сам собою, помимо духовного подвига, в силу своих этнических свойств, есть прирожденно христианский народ, особенно близкий ко Христу и фамильярный с Ним, так что Христос, как будто несмотря ни на что, и не может быть далеким от этого народа. И как всякая фамильярность с высоким, эта фамильярность влечет за собою высокомерие и презрение к другим народам, – не за те или иные общие качества, а за самое существо их. Смысл этого высокомерия может быть выражен тем, что мы – природные христиане, с нас, собственно, ничего не требуется, тогда как другие народы, в сущности, не христиане, и самые их достоинства вызывают в нас чувство пренебрежения» (Флоренский П. А. Записка о Православии. – «Символ», № 21).

Я готов подписаться здесь под каждым словом. Я высказывал сходные мысли и был за это ошельмован русофобом. И все же почему в устах Шатова, в устах Достоевского эта ересь захватывает? Очень важно понять, почему я, суперэкуменист, откликаюсь на языческое извращение вселенской идеи. Думается, потому, что этническое, даже со всеми своими пороками, все-таки живое, а не механическое и в его сопротивлении бездушной мировой машине есть что-то истинное, даже не только живое, но и духовное. Дух может быть побежден только духом, вернее, даже не побежден, а «снят» в гегелевском смысле этого слова, и современное воплощение вселенского духа противостоит не только слепому самоутверждению особи, но и механическому единству. Это дух диалога, утверждающий единство в многообразии.

## **6. Русская идея как диалог идей**

Клиффорд Герц объяснял кровавые события 1965 года в Индонезии тем, что эта страна – наследница сразу нескольких цивилизаций, не вполне сложившихся в одно целое, и иногда индонезийцы относятся друг к другу, словно они принадлежат к разным враждебным племенам (Geertz C. Afterword. In: Culture and politica in Indonesia. Ithaca – London. 1972, p. 321). Россия – не Индонезия, но кое-что из характеристики Герца к ней подходит. В особенности к России после Петра. Говорухин восстает против моды на английский язык; в этом нет ничего нового. На вершине могущества Российской империи Грибоедов восставал против французского языка, против европейского платья и т. п.

Г. Федотов рассматривает советскую власть как победу старомосковского слоя над петербургским. Крутой поворот к Западу – вполне в духе русской истории, так же как крутая реакция против него. Я часто вспоминаю «Утро стрелецкой казни» Сурикова. Глаза Петра и глаза стрельца, с яростью уставившихся друг в друга. Ярость заставляет сдирать наносное (или, наоборот, безнадежно устаревшее, реакционное и т. п.) примерно так, как уничтожают луковицу, сдирая один ее слой за другим. Луковица цела, пока она многослойна. Единство луковицы отличается от единства ореха. Французскую культуру можно сравнить с орехом. Вы отбрасываете шелуху, остается ядро. В луковице такого резкого различия между шелухой и ядром нет. Если мы начнем снимать внешние слои, не останется ничего. Единство луковицы – это единство всех ее слоев. И потому всякие попытки отбросить что-то заимствованное (но глубоко усвоенное) есть здесь разрушение целого. Отбросить можно и нужно только одно – пошлость.

Всякая идея, противопоставленная всем другим, становится разрушительной силой. И некоторая европеизация России необходима ради самой России. Именно европеизация, а не американизация: Америка – это крайность, Новое время без средних веков, просвещение без романтизма. Я понимаю европеизацию как воспитание равновесия и чувства меры, редких в России и часто ненавистных русскому размаху (можно вспомнить, с каким презрением Марина Цветаева цитирует, в «Крысолове», – «Zuviel ist ungesund!»). Россия никогда не станет аккуратной европейской страной, жизнь в России всегда будет трудной. Но некоторый сдвиг к культуре диалога всюду возможен. Он удался в верхнем русском слое, и накануне роковой цепи войн и революций неозападник Ф. Степун и неославянофил Е. Трубецкой вели друг с другом мирный диалог, которому можно позавидовать, читая спор А. Гербер с С. Говорухиным. Спасение России – в диалоге противоборствующих начал, в готовности пожертвовать своей репликой, промолчать во имя духа целого. Я не теряю надежды, что кризис может быть преодолен. Нужно только время, терпение и упорство.